

## II.

**Ю. Ф. Самаринъ.—Сочиненія. Томъ двѣнадцатый: письма 1840—1853 г. Москва, 1911, стр. XII+477.**

а) Когда, вслѣдъ за собраніемъ сочиненій какого нибудь извѣстнаго автора, появляется сборникъ его писемъ, происходитъ нѣчто подобное тому, что бываетъ, когда въ давно пустовавшій домъ возвращается его хозяинъ. Пусть этотъ домъ и въ отсутствіи владѣльца содержался въ образцовомъ порядкѣ, пусть каждая комната сохраняла свое названіе—каждая вещь стояла на своемъ обычномъ мѣстѣ,—все же этотъ пріѣздъ совершенно измѣняетъ характеръ помещенія... То, что до пріѣзда владѣльца называлось „столовой“ лишь потому, что тамъ стоитъ буфетъ и обѣденный столъ, становится теперь столовой потому, что тамъ, въ урочные часы, собирается за обѣденнымъ столомъ вся семья; то, что было „спальной“, отъ стоящей тамъ постели, становится ею теперь потому, что тамъ этотъ хозяинъ спитъ; „дѣтскую“ дѣлаютъ теперь дѣтской уже не груды лежащихъ въ ней игрушекъ, а голоса наполняющихъ ее дѣтей;—старинные портреты, развѣшенные въ гостиной, становятся теперь дѣдами и пра-дѣдами; большое кресло въ залѣ у камина—бабушкинымъ кресломъ,—все какъ-то углубляется, осмысливается, дѣлается *совсѣмъ не тѣмъ, чѣмъ оно было въ пустой квартирѣ, хотя повидимому это—все то же: въ этой пустой квартирѣ поселились люди.*

Появленіе 12-го тома „Собранія сочиненій“ Ю. Ф. Самарина,—тома, содержащаго его переписку, есть именно такой пріѣздъ хозяина;—пустовавшая, хотя и содержавшаяся въ образцовомъ порядкѣ квартира, это—прежде вышедшіе десять томовъ его сочиненій. Изданныя со всевозможной тщательностью, снабженныя предисловіями и многочисленными примѣчаніями, эти сочиненія имѣли все, что только могло придать видъ жизни ихъ собранію (въ этомъ отношеніи особенно цѣнны обширныя „предисловіе“ и „приложеніе“ Ф. Д. Самарина къ 4-му тому и составленныя Д. Ф. Самаринимъ подробныя „данныя для біографіи Ю. Ф. за 1840—45 г.г.“, при 5-мъ томѣ, и „біографическій очеркъ Ю. Ф.“, въ 9-омъ томѣ) однако, всѣ эти біографическія подробности и объясненія

обстоятельствъ написанія того или иного произведенія еще не въ состояніи вдохнуть жизнь и движеніе въ эти тома: это—человѣкъ, близкій къ хозяину, водить гостя по пустой квартирѣ и объясняетъ: „вотъ это барскій кабинетъ: здѣсь почивалъ онъ, кофеи кушалъ, прикащика доклады слушалъ, и книжку поутру читалъ...“ Всѣ эти указанія вѣрны и точны, но всѣ эти часы странствованія по пустой квартирѣ, хотя и съ хорошо освѣдомленнымъ спутникомъ, не замѣняютъ пяти минутъ, проведенныхъ съ самимъ хозяиномъ, въ его домѣ. Когда же „онъ“ пріѣхалъ, когда явились письма,—дѣло совершенно мѣняется. Статья,—*написанная* тогда-то и по такому-то поводу, становится теперь статьей, *пишущейся* въ такой-то и такой-то обстановкѣ, съ тѣмъ или инымъ настроеніемъ, статьей, надъ которой авторъ проводитъ бессонныя ночи, которую онъ передъ печатаніемъ несетъ на судъ друзей, за судьбу которой онъ волнуется, о которой онъ говоритъ „*моя*“, а не „*его*“, какъ мы привыкли. Письма „одухотворяютъ“ писанія, но въ этомъ еще не все значеніе ихъ *по отношенію къ славянофиламъ.*

б) Письма раннихъ славянофиловъ имѣютъ и нѣчто специфическое, и надъ этимъ надо поразмыслить. Вспомнимъ, что эпоха раннихъ славянофиловъ была той эпохой, которая носитъ названіе „*николаевской*“,—эпохой, когда все завѣтное, всѣ сокровенныя мечты и думы тогдашняго человѣка только и имѣли пристанище въ дружескихъ письмахъ, а средство распространенія—въ „*оказіяхъ*“... Правда, почти все классическое, что имѣетъ русская художественная литература, выросло въ ту же стѣнительную эпоху, и есть „*нѣкая тайна*“ въ томъ, что во дни одного сплошнаго деспотизма являются пять круннѣйшихъ свѣтилъ русской словесности—Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Грибоѣдовъ и Жуковскій,—а во дни пяти свободъ мы не можемъ сыскать и одного, подобнаго имъ,—однако, такъ обстоитъ дѣло лишь по отношенію къ прекраснымъ формамъ, къ прекрасному тѣлу, за которымъ прекрасная душа—мысль—можетъ укрыться отъ цензурнаго гнета. Говоря въ дарвиновскихъ терминахъ, эти красивыя формы являются, именно, какъ результатъ борьбы за существованіе, какъ единственная возможность „*приспособиться*“ къ тягостнымъ цензурнымъ условіямъ: требуется богатое „*опереніе*“, чтобы покоришь холодное сердце цензуры. Когда

же условия мѣняются, когда облегчается борьба, „рудиментируются“ эти формы, и содержаніе или мысль—довольствуется простой одеждой. Но если эта душа-мысль, въ эпоху цензуры, не умѣетъ или не хочетъ облечься въ такое прекрасное тѣло, она должна имѣть дѣло съ цензоромъ лицомъ къ лицу. <sup>1)</sup>

У славянофиловъ было больше души и меньше литературныхъ формъ; правда, они умѣли пользоваться художествомъ для выраженія своихъ взглядовъ—вспомнимъ драмы К. Аксакова и Хомякова, которыя были хорошо извѣстны обществу и давались открыто на московскихъ сценахъ, вспомнимъ ихъ стихи—однако, дѣло, затѣянное ими, было такое серьезное, такое—по человѣчески—нужное, что художественная литературная форма не могла быть единственнымъ носителемъ и проводникомъ славянофильскихъ идей. Она придавала вѣчно праздничный видъ идеѣ, которая больше, чѣмъ какая-нибудь другая нуждалась въ шести дняхъ „дѣланія“. Это не было одно сердечное воображеніе и поэзія чувства, хотя здѣсь было и воображеніе и чувство: это была также система продуманной мысли, идея, облеченная въ научную плоть <sup>2)</sup>. Да и могла ли трепетать и пѣть одна „внутренняя“

---

<sup>1)</sup> Хомяковъ, впрочемъ, думалъ даже, что за этой прекрасной формой не пряталось вовсе ни какой прекрасной души. Онъ называетъ своимъ „давнишнимъ“ и вѣдъ „извѣстнымъ убѣжденіемъ“, что „наша литература прошлыхъ десятилѣтій (писано въ 1856 году) была самою безнравственною изъ всѣхъ, когда-либо бывшихъ литературъ: ибо не то слово общественное безнравственно по преимуществу, которое враждебно какимъ бы-то ни было даннымъ нравственнымъ началомъ, а то, которое чуждо всякому нравственному вопросу; и въ этомъ смыслѣ я смѣю сказать, что *только безнравственна только та литература, которая не можетъ запыться ни за какую цензуру и которую всякій цензоръ можетъ и долженъ пропустить*“. (Сочиненія. М. 1911; т. I, стр. 313; курсивъ нашъ—Ө. А.)

<sup>2)</sup> Сами ранніе славянофилы ясно сознавали, что поэзія для нихъ была явленіемъ *вторичнымъ*. Хомяковъ писалъ о себѣ: „безъ притворнаго смиренія я знаю про себя, что мои стихи, когда хороши, держатся мыслью. т. е. *прозиторъ* вездѣ проглядываетъ и слѣдовательно долженъ наконецъ задушить стихотворца“. (Сочиненія, т. VIII, стр. 192). То же говоритъ о вемъ Ю. Самаринъ: „по обилію другихъ даровъ, онъ (Хомяковъ) не могъ быть *только* художникомъ, слѣдовательно, не могъ быть и *только* художникомъ... мысль его искала другаго способа выраженія, болѣе строго, чѣмъ художественный образъ, и прибѣгала къ стиху *только* мимо-

когда взоры ума, бродя по необозримому полю исторіи („записки“—Хомякова), спускаясь въ тайники живыхъ и мертвыхъ языковъ („грамматика“—К. Аксакова), слѣдя за изгибами всемірно-философской мысли, за культурными путями человѣчества („статьи“—И. Кирѣевскаго),—вездѣ находили неразрозненные, несвязные факты, но одно сплошное пророчество о „грядущей расѣ“... Можно не вѣрить славянофиламъ, можно не „пѣть“ вмѣстѣ съ ними, но нельзя взять у нихъ одну какую-нибудь пѣсенку, задѣть одну какую-нибудь струну, чтобы тотчасъ же не зазвучали всѣ другія струны, и разъ начатая пѣсенка о родимомъ „уголѣ“ неизбѣжно вырастаетъ въ міровой эпосъ. Всѣ они знали Гегеля, иные „впадали“ въ юности въ гегельянство, всѣ они дружно шли противъ нѣмецкаго Гегеля и каждый изъ нихъ хотѣлъ быть Гегелемъ русскимъ. Они, почти по уговору, подѣлили между собою части той огромной славянофильской „энциклопедіи“, которую они хотѣли противопоставить Гегелевой. „Исчезнулъ вѣкъ эпическихъ поэмъ“, жаловался Лермонтовъ: для славянофиловъ этотъ вѣкъ только еще начинался...

У каждаго изъ нихъ былъ такой *трудъ жизни*. Но эти труды готовились для потомства, на нихъ должны были воспитываться всѣ слѣдующія славянофильскія поколѣнія, это строилась школа-училище для славянофильскихъ дѣтей: родоначальники его, какъ Адамъ, не знали дѣтства,—они были созданы въ зрѣломъ возрастѣ, имъ самимъ эти „феноменологіи“ и „энциклопедіи“ были ненужны... Это не значитъ, конечно, что они не знали колебаній, не знали тайны идейнаго возрастанія: они и колебались и возрастали, но это колебаніе было временное уклоненіе отъ центра, который былъ данъ: это возрастаніе шло не отъ нуля, а отъ нѣкоторой цѣлой положительной величины; это поразительно, это загадочно, но это такъ: для историка идей это предметъ глубокаго вниманія,—одними заимствованіями, подражаніями, наведеніями (какъ у А. Веселовскаго, напримѣръ) дѣло не объяснится<sup>3)</sup>.

ходомъ. въ первой порѣ своего развитія, прежде чѣмъ она вполне уяснялась себѣ самой“. (Сочиненія, т. VI, стр. 338). Онъ же наставлялъ К. Аксакова (поэта по преимуществу, среди первыхъ славянофиловъ): „надобно говорить языкомъ внятвымъ не только для ушей, но для ума и сердца, а твой разговоръ имѣетъ характеръ лиризма“. (Ibid., т. XII, стр. 171).

<sup>3)</sup> Даже И. В. Кирѣевскій, пережившій трудный душевный кризисъ

И сами родоначальники чувствовали это, они сознавали себя, какъ *моментъ* какого-то глубокаго перелома въ ходѣ русской и даже всемірной исторіи,—*момента*, не этапъ, не переходъ, не эпоху.—Эпоха *начиналась отъ нихъ*:—и вотъ для дѣтей этой новой эпохи, родившихся не въ раю непосредственнаго откровенія, а въ потокъ времени, *вмѣстѣ* съ этимъ новымъ временемъ и въ атмосферѣ уже преданія, были необходимы эти „феноменологіи“, вводившія въ кругъ славянофильскихъ идей.—Это были *трудъ* жизни отцовъ, назначенный для будущаго <sup>4)</sup>. *Отъ* же ихъ собственной жизни заключалось не въ этомъ. Свои „семирамиды“ <sup>5)</sup> они не смѣшили выносить на свѣтъ: это могли сдѣлать и сдѣлали ихъ дѣти,—но было нѣчто, что они смѣшили вынести, это—*критика текущаго, отъбика злобы дня*.

Вспомнимъ опять, что этотъ день не былъ простымъ днемъ въ ряду прочихъ, это было въ ихъ глазахъ, да и въ глазахъ всѣхъ почти современниковъ, исключительный моментъ, поворотный пунктъ исторіи, и нужна была сильная рука опытнаго кормчаго, чтобы не разбить судно на этомъ крутомъ поворотѣ. Вѣдь всѣ знали, всѣ чуяли, что кончалось прежнее ровное теченіе, приближались пороги, а за ними поворотъ на новую дорогу, и многіе хотѣли быть кормчими. Славянофилы звали въ свою ладью, учили вѣрить своему

(и *даже*) по мнѣнію Пышина. „съ самаго начала имѣлъ идеи славянофильскаго характера“ („Характеристики литературныхъ мнѣній“, С.П.Б. 1909, стр. 262, со ссылкой на письмо *двадцатилѣтняго* И. К.; сочиненія М. 1911, т. I, стр. 10).

<sup>4)</sup> Хомяковъ называлъ свои записки по всемірной исторіи своимъ „постояннымъ трудомъ“. (См. напр.: сочиненія, т. VIII, стр. 252). Мы знаемъ также, что именно *юные друзья* Хомякова, больше всего поуждали его писать Семирамиду. Гильфердингъ въ предисловіи къ изданію ея говоритъ: „составился даже заговоръ между его молодыми друзьями, въ которомъ принимала очень дѣятельное участіе его жена (*мать „маленькихъ Хомяковыхъ“*), а главнымъ зачинщикомъ былъ Д. А. Валуевъ, его племянникъ по женѣ, въ то время молодой студентъ... для приступа къ дѣлу овъ приготовилъ ему (Хомякову) тетрадь, сшилъ ее, принесъ перья и въ шутку заперъ его ва ключъ въ кабинетъ на условленное время, а ключъ увесъ съ собою. Не разъ потомъ случалось Валуеву... повторять надъ нимъ эту  *douce violence*“. (Ibid., т. V, предисл. стр. XIII и XV). Молодое поколѣніе хотѣло учиться славянофильству.

<sup>5)</sup> Такъ шутливо, съ легкой руки Гоголя, называли друзья Хомякова его „записки“.

кормчему; здѣсь рѣчь шла уже не о потомкахъ, а о современникахъ, было несвоевременно предлагать систематическія и спокойныя „семирамиды“,—надо было кричать, звать, обличать, увѣрять,—нужны были воззванія, манифесты, программы: нуженъ былъ журналъ. Въ жаждѣ „журнала журналовъ“ объединились все партіи, онъ же былъ завѣтной мечтой и славянофиловъ; некогда было строить „школы“ и храмы, шла война, и нужны были сторожевыя башни, чтобы указывать путь и выслѣживать непріятеля; такой башней могъ быть только журналъ... Но николаевская эпоха, послѣ кружковъ, больше всего боялась журналовъ, видя въ нихъ не органы общественнаго мнѣнія, не портики, гдѣ могли встрѣчаться для бесѣдъ друзья и враги, а развернутые знамена тѣхъ же кружковъ <sup>6)</sup>. Журналы одинъ за другимъ закрывались на первыхъ же книжкахъ и, наконецъ, вовсе прекратились.—Что же теперь оставалось дѣлать славянофиламъ?—запереться въ деревнѣ и, забывъ о современникахъ, готовить въ тишинѣ школы для потомковъ,—писать „семирамиды?“—Конечно, писаніе послѣднихъ пошло теперь гораздо успѣшнѣе, однако оставалась еще возможность дѣланія и для настоящаго, — оставались „письма“, переписка, „оказіи“,—„крещеніе“ не толпой, а по одиночкѣ,—и легко убѣдиться, какъ ревностно использовали первые славянофилы этотъ способъ.—Такія письма, какъ Хомякова къ „стоику“ И. С. Аксакову, о крестѣ, и о философіи—къ Самарину (отставшему отъ нея за время своей напряженной практической дѣятельности), Самарина къ Попову и Могену, о Церкви, И. Кирѣевскаго къ А. И. Кошелеву, объ отношеніи Церкви къ государству, по поводу Vinet (письма, которыя самъ авторъ называетъ „диссертаціями“), его же—къ К. Аксакову, о русскомъ языкѣ, и множество подобныхъ.—такія письма.

<sup>6)</sup> Славянофилы не стояли за журналъ, какъ именно *свой* журналъ: имъ важно было *распространять* свое ученіе, а не исповѣдывать его только. Брошюры, альманахи могли быть м., б., еще полезнѣе. Ср. Хомяковъ (къ К. Аксакову): „форма диссертаціонная—не-русская: въ отдѣльныхъ же брошюрахъ вы принимаете какую угодно форму: афоризма, анекдота, поясняющаго мысль, лирики.. и другія, смотря по ходу самого разсужденія... съ величайшимъ разнообразіемъ можно бы соединить единство и сильнѣе дѣйствовать на публику, обходя журналы и не связываясь никакими условными дѣлами“. (Сочиненія, т. VIII, стр. 330—331).

„въ наши лѣта“, уже не пишутъ, потому что теперь ихъ замѣнили „статьи“ и „трактаты“.

Письма первыхъ славянофиловъ, это—*дѣло* ихъ, это—раннее славянофильство *an und für sich*.—Слѣдующія поколѣнія ихъ имѣли „Бесѣду“, „День“, „Русь“, отцы *имѣли* только эти письма. <sup>7)</sup> Вотъ почему съ такой радостью привѣтствуешь каждое вновь открытое письмо славянофильскаго родоначальника и, тѣмъ болѣе, такія сборники ихъ, какъ только что выпешій Самаринскій.—*Учиться* славянофильству можно по „семирамидамъ“, учиться *быть* славянофиломъ можно лишь по такимъ письмамъ.

с) Но, и этимъ *всѣмъ*—и одухотвореніемъ „семирамидъ“ и восстановленіемъ образа славянофильскаго „дѣланія“—еще не исчерпывается все значеніе ихъ писемъ. Нужно еще углубиться въ индивидуальность писавшаго, заглянуть не только въ „дѣло“, но и въ „душу“ дѣлателя. Мы говоримъ *нужно*, ибо есть направленіе умовъ, которое обладаетъ виртуозной способностью выжимать изъ живыхъ словъ живого человѣка мертвыя мысли. Эти мертвыя, или омертвѣвшія мысли, подъ именемъ „безсмертныхъ идей“, виснутъ, какъ ледяныя иглы, въ морозномъ воздухѣ, которымъ дышать эти самоѣды. Но есть возможность иного отношенія къ великимъ покойникамъ, иной культъ предковъ—онъ же и общечеловѣчскій,—это отношеніе къ умершему, какъ къ живому, не—какъ къ мѣсту пересѣченія отвлеченныхъ идей, а какъ къ творческому ихъ источнику. Этому послѣднему культу служатъ изданія писемъ. Правда, и въ нихъ можно набрать много „идей“, но тамъ онѣ такъ переплетены съ душою, что стоитъ великаго труда ихъ вылущить: сочиненія въ этомъ отношеніи „удобнѣе“.—Но, для того, кто не задается задачей такого скобленія до дыры, кто хочетъ знать душу писателя, для того эти письма незамѣнимый, единственный источникъ.

Правда, и въ славянофильствѣ есть теоретическій моментъ, и, не менѣе другихъ носителей идеи, были одержимы идеей первые его представители; поэтому тѣ, кто привыкли, во всевозможныхъ исторіяхъ русскаго самосознанія, выда-

<sup>7)</sup> Ср. напр. очень интересное свидѣтельство объ этомъ у Ю. Ф. Самарина въ письмѣ къ Кавелину. (т. VI, стр. 361).

вать силуэты за портретъ, безъ труда сумѣютъ вырѣзать и силуэтъ славянофила. Но, если силуэтъ шестидесятника дѣйствительно есть вмѣстѣ и портретъ его, то контуръ ранняго славянофила остается только контуромъ,—нужны еще краски, еще блики, нужны детали, для того, чтобы возвести его въ портретъ... Одержимость идеей у славянофила находится въ чудной, непонятной для историка литературы пыпинскаго типа, гармоніи съ *держаніемъ*, свободнымъ обладаніемъ этой идеей со стороны носителя.—Славянофильство, по отношенію къ идеѣ, не то же, что спутникъ, по отношенію къ планетѣ,—скорѣе то и другое; и идея и „я“ славянофила—два тѣла равныхъ массъ, вращающіяся въ равновѣсіи вокругъ невидимаго центра, лежащаго между ними, внѣ ихъ, глубже ихъ.—Что это за центръ—трудно *высказать*, онъ осязается: „любящій“ знаетъ его, а „нелюбящій“ все равно не вразумится отъ словъ. Ктому же онъ не есть что-то однообразное, для каждаго славянофила въ отдѣльности, иначе изъ мысленнаго, „умнаго“, центра онъ грозилъ бы обратиться въ новое косное тѣло, для котораго прежнія два стали бы только случайными спутниками, и было бы „для человѣка того“, который, какъ Пыпинъ, „все понимаетъ“,—послѣднее, горше перваго. Этихъ центровъ столько же, сколько славянофильскихъ душъ,—это ихъ *личный центръ*.

Вотъ, передъ нами письмо Самарина, въ немъ душа его;—что же въ этой его душѣ является такимъ центромъ? Что лежитъ въ ней глубже ея славянофильства, глубже ея феноменальной опредѣленности? Прислушаемся къ задушевной темѣ его писемъ, — она скоро выдѣлится изъ моря вторичныхъ звуковъ.

d) Юрій Самаринъ былъ человѣкъ долга, но не въ смыслѣ убивающаго: *du sollst—du kannst*, а въ смыслѣ: реку рабу моему сотвори *сiе*, и сотвори!—Была, правда, въ его жизни, въ ранней юности, эпоха, когда онъ попытался измѣнить этому своему „демону“, захотѣлъ „испытать одиночества и духовнаго безначалія, вкусить невѣдомыхъ высокихъ страданій“, убить „всѣ непосредственныя движенія души“, какъ онъ рассказываетъ объ этомъ позже въ чудномъ письмѣ къ Гоголю<sup>8)</sup>;—вслѣдъ за этимъ наступило его гегельянство<sup>9)</sup>, но,

<sup>8)</sup> Сочиненія, т. XII, стр. 242, письмо 153-е.

<sup>9)</sup> Подробнѣе объ этомъ въ V томѣ („Данныя для біогра. Ю. Ф. С.“)



къ счастью, эта полоса бурь миновала, и онъ скоро писалъ своему другу К. Аксакову; изъ деревенскаго уединенія, о новой осяннвшеи его мысли: „Мнѣ невыносимо тяжело и грустно, я не ребенокъ, ты это знаешь; тебѣ я могу высказать все. Много ночей провелъ я въ деревнѣ безъ сна, въ горькихъ слезахъ и безъ молитвы. Бездѣлицу вычеркнули мы изъ нашей жизни: Провидѣніе, и послѣ этого можетъ быть легко и спокойно на сердцѣ“<sup>10)</sup>?—И эта мысль о забытомъ Промыслѣ, мелькнувшая вдругъ въ душѣ Самарина, не была птичкой, залетѣвшей на минуту подъ холодныя, давящія своды гегелевой лабораторіи; не была она и лучемъ солнца, проникшимъ въ узкое окно этой лабораторіи и освѣщавшимъ одинъ изъ мрачныхъ ея уголковъ; нѣтъ,—это былъ цѣлый потокъ свѣта, вдругъ освѣтившій всю внутренность этого сырого и непригляднаго помѣщенія и вызвавшій сидѣвшаго тамъ добровольнаго мученика „науки“<sup>11)</sup> на просторъ Божьяго міра... Самаринъ уже не вернулся туда: онъ остался навсегда въ этомъ Божьемъ „свѣтѣ“: изъ раба автономной мысли, сталъ онъ рабомъ Божьимъ. Съ тѣхъ поръ идея Промысла стала центральной идеей его мысли и первымъ двигателемъ его воли. И когда, много лѣтъ спустя, незадолго до своей смерти, въ свѣтѣ этой новой идеи разсматривалъ онъ эту эпоху „самоначалія“, онъ увидѣлъ, что даже та переоцѣнка человѣческой личности, которая была положена въ основу ея, вскрывъ свои метафизическіе корни, обнаружила, что даже и они вышли изъ того же чувства Промысла, только чувства смутнаго, неосознаннаго и потому искаженнаго. — „Можно было бы, я думаю, доказать, писалъ онъ, что высокое значеніе, которое человѣкъ съ полнымъ правомъ придаетъ своей личности, не можетъ ни на чемъ другомъ основываться, какъ на идеѣ Промысла, и не иначе можетъ быть логи-

<sup>10)</sup> Ibid., т. XII, стр. 46.

<sup>11)</sup> Это понятіе тогда отождествлялось съ понятіемъ гегелевой философіи,—философіи, какъ таковой (ср. Самарина: „подъ наукой я разумѣю философію, а подъ философіею—Гегеля“, *ibid.*, стр. 98); что согласно съ ученіемъ самого Гегеля (ср. напр. G. W. F. Hegel, *Sämtl. Werke*, B. 2. *Phänomenologie des Geistes*, V. v. F. Meiner, Vorrede, S. 6: „Die Wahre Gestalt, in welcher die Wahrheit existiert, kann allein das wissenschaftliche System derselben sein. Daran mitzuarbeiten, dass die Philosophie der Form der Wissenschaft näher komme... ist es, was ich mir vorgesetzt“).

ческа оправдано, какъ предположеніемъ Всемогущаго Существа, Которое не только каждому человѣку доводитъ до сознанія его нравственнаго призванія и личнаго долга, но вмѣстѣ съ тѣмъ и внѣшнія, отъ субъекта совершенно независящія событія и обстоятельства его жизни располагаетъ такимъ образомъ, что они находятся и пребываютъ въ *опредѣленномъ*, для человѣческой совѣсти легко *познаваемомъ отношеніи* къ этому призванію. Только при условіи признанія такого рода отношенія между тѣмъ, чѣмъ человѣкъ *долженъ* быть и тѣмъ, что съ нимъ *случается*, каждая человѣческая жизнь слагается въ *разумное цѣлое*. Устраните въ мысли дѣйствіе Промысла,—и эта жизнь виспадетъ до безсмысленной борьбы, въ которой два непримиримые, не имѣющіе между собою ничего общаго фактора—каковы: свободная воля съ одной стороны, и слѣпая, безсознательная, ей не подчиненная случайность съ другой—стараются другъ друга побороть безъ всякой надежды, чтобы эта вѣчная противоположность когда-либо разрѣшилась въ *высшемъ началѣ*“<sup>12)</sup>.

Такъ, въ свѣтѣ новой идеи, разъяснили Самаринъ въ старости случай изъ своей юности... Но, не только въ отношеніи къ этому случаю оказала свое могучее дѣйствіе эта новая идея, это его неизмѣнное „причастіе“ ей; не только этотъ моментъ его жизни, но *вся его жизнь* была „опытнымъ полемъ“ для испытанія этой „*idée-force*“... То, что въ приведенныхъ его словахъ сказано какъ бы лишь вообще, о томъ, что безъ Промысла жизнь врацается въ противорѣчіяхъ, оказывается самымъ сжатымъ, *самымъ точнымъ изображеніемъ жизни самого Самарина*.—Достаточно лишь мелькомъ познакомиться съ его біографіей, чтобы видѣть, что эта жизнь была именно такой постоянной антиноміей между тѣмъ, что онъ—по своему—*долженъ* бы былъ дѣлать и тѣмъ, что съ нимъ *случилось*,—вѣчной борьбой свободной воли со слѣпой случайностью; и если эта жизнь все же составила въ итогѣ нѣкоторое безусловно *разумное цѣлое*, то тайна этой цѣлостности лежитъ въ томъ постоянномъ сознательномъ хожденіи передъ Богомъ, въ томъ „культѣ“ Промысла, которымъ характеризуется жизнь Самарина. Онъ зналъ тайну *отреченія* во имя вѣры въ грядущее *примиреніе*. Въ этомъ онъ открыто признавался всегда: его шеема полны такими

<sup>12)</sup> Сочиненія, т. VI, стр. 507.

признаніями. „Das Leben ist Entsagung—сказалъ гдѣ-то Гете, и эти слова меня поразили, когда я былъ еще очень молодъ“<sup>13)</sup>, вспоминаетъ онъ послѣ. Въ другомъ мѣстѣ онъ точнѣе опредѣляетъ этотъ моментъ: „Въ то время, какъ я поступилъ въ университетъ, говоритъ онъ, для меня стало ясно, что мнѣ слѣдуетъ принести великую жертву и отказаться отъ многого. Съ тѣхъ поръ и несмотря на минутныя, кратковременныя увлеченія это сознаніе меня никогда не покидало“<sup>14)</sup>.— Но, хотя у него эта идея, разъ навсегда опредѣлившая направление его жизни и дѣятельности, не есть лишь нѣкоторое регулирующее „предѣльное понятіе“, а находитъ непрерывный источникъ питанія въ самомъ живомъ Промыслѣ и, какъ „все живое, творческое не пріобрѣтается, а падаетъ съ неба“<sup>15)</sup>, тѣмъ не менѣе вкушеніе сладости „примиренія“ есть все же праздникъ души, у которой есть и будни, когда острѣе выступаетъ горечь отреченія“, и первая улыбка бываетъ всегда сквозь слезы... „А сильно тянетъ меня въ Италію! сознается онъ въ тридцать лѣтъ,—чувствую, что тамъ могли бы ярко вспыхнуть всѣ потушенные огни моей однообразной молодости. Пожить въ Италіи это—единственное, послѣднее мое требованіе отъ жизни для себя, и именно потому-то мнѣ кажется, что оно не сбудется“<sup>16)</sup>... Для меня пора исканія личнаго блаженства въ наслажденіи прекраснымъ, въ любви, въ знаніи, въ чемъ бы то ни было миновала. Его можно найти только въ самопожертвованіи, въ забвеніи о самомъ себѣ“<sup>17)</sup>... Впрочемъ, неудовлетворенное желаніе, остановленное стремленіе, предугаданная и принесенная въ жертву радость пропадаютъ не даромъ. Богъ вѣдаетъ, какъ это дѣлается, но изъ всего этого образуется какая-то творческая сила, какъ изъ перегнившихъ сѣмянъ и подрѣзанныхъ стеблей образуется плодоносная почва. И въ себѣ чувствую много силъ именно потому, что мнѣ было во многомъ отказано“<sup>18)</sup>... „Ни одна изъ тѣхъ радостей, которыхъ я такъ сильно желалъ и къ которымъ я издавна стремился, никогда не была мнѣ дарована“<sup>19)</sup>...

<sup>13)</sup> Ibid. т. XII, стр. 221.

<sup>14)</sup> Ibid. стр. 316.

<sup>15)</sup> Ibid., стр. 245.

<sup>16)</sup> Ibid. стр. 353.

<sup>17)</sup> Ibid. стр. 352.

<sup>18)</sup> Ibid. стр. 353.

<sup>19)</sup> „Aucune des joies que j'ai vivement désirées et que je me suis préparées de longue main ne m'a jamais été accordée“. Ibid. стр. 366.

„Долго мы жили необыкновенно счастливо. Но шесть лѣтъ тому назадъ, когда скончалась сестра моя, помню, какъ теперь, я почувствовалъ смутно, что счастливое и спокойное время прожито и что впереди остается одно горе“<sup>20)</sup>. Впрочемъ, „каждому семейству предопредѣлено исчерпать извѣстныя доли радости и горя“<sup>21)</sup>, и „жизнь каждого человѣка, какъ бы, повидямому, случайно и преждевременно она ни пресѣклась, по отношенію къ нему всегда бываетъ полна и окончена“<sup>22)</sup>.—„Провидѣніе, которое не предохраняетъ, не наказуетъ, не помогаетъ, не оказываетъ дѣятельнаго вліянія на ходъ событій, разрѣшается въ ничто“<sup>23)</sup>.

Вотъ—жизнь Самарина, вотъ его—Богъ, вотъ—глубочайшее религиозно-нравственное значеніе его писемъ!—И для того, кто ищетъ назиданія, поддержки, кто теряется въ противорѣчіяхъ: „ищу счастья — нахожу скорбь“, кто хочетъ учиться жить съ Богомъ и по Божьи, тотъ найдетъ въ этихъ письмахъ отвѣты и рѣшенія на всѣ эти вопросы; для того письма Самарина—настоящая книга... Но для того, кто хочетъ не только учиться у Самарина, но еще и жаждетъ понять въ самомъ корнѣ огромность подвига жизни Самарина, для того по отношенію къ этимъ письмамъ „есть еще одно желаніе“,—оно заключается въ томъ, что хочется имѣть *все* отъ Ю. Ѳ. Самарина, чтобы поучаться *отъ всего*... Есть пустяжная желанья, когда хочется знать ради одного любопытства. Что дѣлалъ разбойникъ благоразумный прежде чѣмъ его распяли—это любопытство, ибо все, что намъ нужно о немъ знать, заключается въ его предсмертныхъ покаянныхъ словахъ.—Но, *откуда произошли тѣ печали* въ жизни любимаго человѣка, которыя окрасили въ извѣстный цвѣтъ его жизнь и дали ему возможность обнаружить силы борца и вѣрности Божьяго ратника,—это вопросъ не праздный. Зная источникъ горести, зная его начальную скорость и мѣсто истока мы можемъ яснѣе понять всю силу дальнѣйшаго подвига, его высоту и объемъ... Между тѣмъ, въ изданномъ томѣ писемъ Самарина мы тщетно будемъ искать такого объясненія;

<sup>20)</sup> Ibid., стр. 386.

<sup>21)</sup> Ibid.

<sup>22)</sup> Ibid. стр. 357.

<sup>23)</sup> Ibid., т. VI, стр. 499.

можно только догадываться, откуда зло, — горе, но эти догадки сбивчивы и смутны. Видно, что заповѣдь о жертвѣ дана давно и давно данъ отвѣтъ: жертвую, но, когда онъ данъ, кому и по какой причинѣ — неясно. — А, между тѣмъ, есть документъ, который проливаетъ свѣтъ на этотъ вопросъ. Мы разумѣемъ письмо Самарина къ Гоголю, напечатанное впервые въ „Русской Старинѣ“, за 1889 годъ (томъ 63-й, стр. 171—173), и перепечатанное затѣмъ у Барсукова въ его „Жизни и трудахъ Погодина“ (томъ VIII, стр. 342—344). Это второе письмо Ю. О. къ Гоголю, помѣченное 6 июля 1846 года и, следовательно, написанное черезъ четыре мѣсяца послѣ перваго письма, помѣщенного въ изданномъ XII томѣ (стр. 240—246) и за нѣсколько лѣтъ до третьяго письма (второго, въ указанномъ томѣ, стр. 246—248). Оно исключено издателемъ изъ этого новозданнаго собранія писемъ Ю. О. Самарина 1840—1853 годовъ, какъ представляющее „лишь частный интересъ“ (Ср. „отъ издателя“, стр. VIII), между тѣмъ это не совсѣмъ такъ. Приведемъ это письмо въ томъ видѣ, въ какомъ оно перепечатано у Барсукова, такъ какъ тѣ немногія фразы въ началѣ и въ серединѣ письма, которыя послѣднимъ опущены, не заключаютъ ничего важнаго. Вотъ это письмо:

„Вы не знаете моего отца, но такъ какъ я долженъ и хочу быть вполне откровеннымъ съ вами, я не могу не сказать вамъ о немъ хоть нѣсколько словъ. Онъ пожертвовалъ для меня своимъ положеніемъ въ свѣтѣ и при Дворѣ, видами честолюбія, оставилъ навсегда Петербургъ и, поселившись въ Москвѣ, занялся исключительно моимъ воспитаніемъ. Это была великая жертва и притомъ жертва выдержанная, ибо до послѣдняго дня его попечительность, доходившая до мелочей, его ежечасныя заботы, не оскудѣвая, проводили меня черезъ всѣ ступени ученія и воспитанія. Многимъ обязанъ я воспитанію, если не всѣмъ; я обязанъ ему тѣмъ, что многія вредныя и суетныя наклонности, которыхъ сѣмя во мнѣ было, не развились во мнѣ; наконецъ, оно сдѣлало меня способнымъ принять и сродниться съ такимъ образомъ мыслей, который при другихъ обстоятельствахъ, другомъ образѣ жизни и воспитанія, вѣроятно, остался бы мнѣ чуждымъ. Сосредоточивъ на мнѣ свои надежды, свои попеченія..., отецъ мой привыкъ смотрѣть на меня, какъ на свое созданіе; это было почти неизбежно, но тѣмъ не менѣе вредно. Чрезмѣрною взыскательностью и строгостью,

онъ подавилъ во мнѣ свободу непосредственныхъ движеній сердца, откровенность, прямоту и силу воли. Къ несчастію, онъ никогда не понималъ меня и теперь понимаетъ менѣе, нежели когда-нибудь... Я ужасно много перетерпѣлъ въ дѣтствѣ. Ничто мнѣ не спускалось даромъ; малѣйшее сопротивленіе, самое робкое оправданіе вмѣнялось мнѣ въ вину; меня наказывали безпрестанно и заставляли каяться, вынуждали слезы и раскаяніе, когда я вовсе не былъ виноватъ. Заступаться за меня было никому; мало по-малу безусловная покорность вошла въ привычку. Съ тѣхъ поръ, какъ я вышелъ изъ Университета, жизнь моя была рядомъ пожертвованій. (Вы понимаете, что я это говорю отнюдь не въ похвалу себѣ). Сильное желаніе влекло меня на учебное поприще; занимать кафедру казалось мнѣ тогда и кажется теперь самую лучшую долю — я отказался отъ нея и вступилъ въ службу... я долженъ былъ ѣхать въ Петербургъ; наконецъ, послѣ двухъ лѣтъ почти потерянных..., я просился за границу — и въ этомъ получилъ отказъ! Но это было бы еще ничего, моимъ образомъ жизни я всегда жертвую охотно, теперь отецъ мой ставитъ мнѣ въ вину самый мой образъ мыслей. Подозрительнымъ взоромъ смотритъ онъ на друзей моихъ и Вашихъ, на Хомякова, Аксакова, Погодина и другихъ. При каждомъ удобномъ случаѣ осыпаетъ ихъ самыми несправедливыми и обидными упреками и ясно требуетъ отъ меня разрыва съ ними. Разумѣется, я этого никогда не сдѣлаю... Трудно мнѣ ладить. Приучивъ отца къ безусловной покорности съ моей стороны, я не могу переимѣнить отношеній вашихъ, не могу измѣнить его образа мыслей, уничтожить предубѣжденій и предрасудковъ, неразлучныхъ съ его лѣтами. Мнѣ остается... уступать, когда только можно. Но чувствую я при этомъ, что уступчивость мнѣ не вмѣняется, онъ принимаетъ ее холодно, безъ любви, ибо самъ я уступаю холодно, безъ любви, по чувству долга и по привычкѣ давнишней... Я не оправдываю себя, виновать и я, но виновато въ особенности установившееся отношеніе, котораго измѣнить нельзя.

Въ то же самое время, тотъ кругъ людей, съ которыми я связанъ образомъ мыслей, ученою дѣятельностью и всѣми убѣжденіями и сочувствіями, видимо осуждаютъ меня и уклоняются отъ меня. Аксаковъ пишетъ мнѣ письма, въ которыхъ грозитъ разрывомъ, если я не приму его образа мыслей, запечатлѣннаго исключительностью и потому только извинительнаго, что происходитъ отъ незнанія людей и жизни. Онъ не умѣетъ взглядываться

въ физиономію человѣка; онъ видитъ въ немъ не живое цѣлое сложенное изъ противоположныхъ свойствъ и началъ самыхъ разнообразныхъ, а строгій силлогизмъ на двухъ ногахъ, такъ что, узнавъ одно свойство, онъ выводитъ изъ него цѣлый рядъ выводовъ и безъ оглядки навязываетъ ихъ лицу. Весь родъ человѣчскій для него распадается на безусловно бѣлыхъ и безусловно черныхъ. Такъ, въ послѣднее время, въ письмѣ къ мнѣ, онъ разругалъ Александру Осиповну Смирнову за то, что она знакома съ людьми, которыхъ онъ называетъ подлецами и подлячками. Предвижу я, что и съ нимъ я долженъ буду разойтись, и тѣмъ болѣе досадно и грустно мнѣ это, что нѣтъ законной причины къ разрыву. Какъ жаль, что Васъ имѣть: Вы одни могли бы имѣть смягчающее миротворное вліяніе на насъ всѣхъ“.

Надо ли говорить насколько яснѣе теперь становится великость подвига Самарина: къ покорности Промыслу присоединяется еще болѣе тяжелая покорность деспотической отцовской любви. Устанавливается источникъ всѣхъ тѣхъ печалей и побѣдъ, которыя крѣтко были указаны выше и которыми полны письма Самарина... Издатели опустили это письмо, какъ имѣющее лишь частный интересъ; вѣроятно, такимъ же покажется оно тѣмъ читателямъ Самарина, которые расцѣниваютъ его писанія лишь со стороны содержанія, оно больше придется по вкусу врагамъ славянофильства, но, для истинныхъ друзей Самарина и славянофиловъ, число которыхъ не малится, а все возрастаетъ, это письмо будетъ тѣмъ, что оно и есть на самомъ дѣлѣ—однимъ изъ уголковъ великой души Самарина.—Издатели какъ бы не предусмотрѣли возможности установленія живого, личнаго отношенія со стороны читателя сочиненій и писемъ Самарина къ *самому Самарину*. Между тѣмъ для большинства читателей это не только возможно, но, какъ намъ кажется, неизбежно. То, что нами сказано выше о раннихъ славянофилахъ вообще (см. отдѣленіе с.), и то, что мы нашли въ частности въ письмахъ Самарина—эту его живую душу, цѣльную, стойкую личность—это мы не считаемъ своимъ открытіемъ. Это не есть что то, что лежитъ на самомъ днѣ его писаній, это—живые токи, легко ощутимые на каждой страницѣ его писаній, наполняющіе до краевъ каждое его письмо. Самаринъ даже болѣе всѣхъ другихъ славянофиловъ опредѣлененъ, какъ личность: это—живой монолитъ, это—личность въ са-

момъ высокому смыслу слова... И таковы онъ на каждой страницѣ своихъ писаній, въ каждомъ его письмѣ. Отсюда чтеніе его писаній это—*беседа* съ ихъ авторомъ, это—*живое* къ нему *отношеніе*, это—*любовь* къ Ю. Ө. Самарину.—Но, любовь сильно ограничиваетъ понятіе частнаго; она *считаетъ частнымъ* только то, что не прибавляетъ абсолютно ничего новаго къ образу любимаго человѣка; она *ждетъ* терпѣливо, когда историческая отдаленность позволитъ обнародовать тѣ документы о любимомъ человѣкѣ, которые въ далнюю минуту открыть невозможно (по тѣмъ или инымъ причинамъ); но, она *жадно ищетъ* всего, что способно, хотя бы лишь немного яснѣе отгѣнить любимыя черты.—Издатели сочиненій Ю. Ө. связаны съ нимъ родственными узами: имъ трудно стать на точку зрѣнія человѣка, абсолютно „внѣшняго“ по отношенію къ Ю. Ө. Самарину, въ смыслѣ житейскомъ, но внутренне всей душой къ нему тяготящаго... Они слишкомъ его *объективируютъ* для читателей, они *слишкомъ деликатны* по отношенію къ послѣднимъ: они хотятъ дать только „интересное“, только „важное“.—Но, голосъ изъ среды читателей говоритъ: *трудно быть только читателемъ* Ю. Ө. Самарина, все влечетъ быть его *почитателемъ*; мало имѣть его писанія,—хочется имѣть его самого: *въ немъ—все* интересно и *все* важно.—Поэтому надо желать и просить, чтобы было опубликовано все то изъ наслѣдства Ю. Ө., что только можетъ быть опубликовано. Такъ, кромѣ писемъ, въ примѣчаніяхъ и предисловіяхъ къ сочиненіямъ его, упоминаются и цитуются: его юношескій дневникъ („записная книжка“), дневникъ его перваго наставника, касающійся занятій Ю. Ө.; упоминаются конспекты послѣдняго къ Гегелю, изъ которыхъ можно было бы, вѣроятно, извлечь много собственныхъ замѣчаній и поясненій Самарина, какъ это уже сдѣлано въ 6-мъ томѣ, по отношенію къ книгѣ Кавелина, но, въ программѣ слѣдующихъ томовъ ничего изъ этого не значится.

Если они сохранились, то какъ хотѣлось бы видѣть ихъ!—Со всѣми тѣми пропусками и сокращеніями, если бы такія и пришлось сдѣлать въ нихъ, они тѣмъ не менѣе были бы съ величайшимъ восторгомъ и благодарностью встрѣчены истинными друзьями Самарина... Опасность профанаціи устрояется: для „лакея“ все равно нѣтъ великаго человѣка, а



для искренних друзей и поклонников великаго человека цѣнны воспоминанія даже его лакея. Ктому же, вѣдь, внесеніе подробностей, хотя бы и мелкихъ *на взглядъ*, не будетъ нарушеніемъ первоначальнаго плана изданія сочиненій Ю. О. Самарина. Прѣжній редакторъ ихъ, братъ Ю. О.—Д. О. Самаринъ, въ предисловіи къ разбору сочиненія К. Д. Кавелина „Задачи Психологіи“, сдѣланному Ю. О., пишетъ: „всѣ возраженія и замѣчанія Ю. О. Самарина печатаются цѣлкомъ, въ томъ самомъ видѣ, какъ они были написаны. Въ *лихихъ отрывочныхъ наброскахъ и замѣткахъ* найдется не одна новая черта для характеристики духовнаго строя Юрія Осдоровича и задушевныхъ его мыслей по такимъ вопросамъ по которымъ ему къ сожалѣнію не суждено было высказаться вполне и повѣдать все, или *опознанно*“ (т. VI, стр. 396).

Θ. Андреевъ.

### III.—Къ ученію о Логосѣ.

(Библиографическая замѣтка).

I. Espann.—Erzeugen und Erkennen (Theologische Quartalschrift, 1912. 4 Heft.).

Такія „таинства вѣры“, какъ рожденіе Сына Божія, твореніе міра, паденіе, искупленіе и пр., невольно влекутъ къ себѣ вниманіе теолога, подобно тому, какъ аналогичныя имъ „тайны природы“ возбуждаютъ любознательность естествовѣда. Всякая попытка освѣтить сколько-нибудь по-новому эти старыя, но вѣчно живыя, вопросы должна быть, поэтому, радостно привѣтствуема. Одной изъ такихъ попытокъ является напечатанная въ Theologische Quartalschrift (1912 г. 4 Heft) небольшая статья проф. *Испанна*, авторъ которой стремится понять, почему Логосъ есть нераздѣльно и Сынъ. Кратко, основная мысль статьи можетъ быть формулирована такимъ образомъ. Не всякій сынъ есть eo ipso и Логосъ. Но *Θεός—Λόγος* долженъ быть непременно и *Θεός—Υἱός*, поскольку во всякомъ познавательномъ-логическомъ процессѣ мы имѣемъ актъ рожденія sui generis. Детально эта мысль развивается и обосновывается авторомъ такъ.

„Логосъ называется въ новозавѣтномъ откровеніи также filius Dei“ (Сынъ Божій). Въ какомъ смыслѣ Логосу можетъ